

рецензии

ПОЭЗИЯ

Хорошие поэты второго ряда

Владимир Березин

Дочь поэта

Большую часть мемуаров можно разделить на написанные по схеме «Знаменитость и я» и написанные по схеме «Я и знаменитость». Есть, конечно, еще и третий тип описания — дотошная внимательность к деталям,

раз в этом сорок втором его несли над землей крылья «Люфтваффе». Любовь причудлива.

Автор воспоминаний пишет с удивительной для конца прошлого века наивностью: «Нельзя наказывать невинных людей, какой бы национальности они не были. Крымские татары, и чеченцы,

вовсе не было, а было только имя Элиогу. Но он был кантонистом фанаторийского полка, и время было суровое — солдат Шелевинский пал в бою. Его фамилия оказалась бесхозной, и ее подобрал дед поэта. Сын его, меховщик, правда, переделал ее в Селевинский, а сын и вовсе записался Сельвинским.

слова «Самсебиздат», быстро редуцированного на «Самиздат». Уже никто не помнит суровых контор «Госполитиздат» и «Партиздат», а слово «Самиздат» осталось. Про Глазкова сочинено множество легенд, одна из них, пересказанная Львом Лосевым, приводится в этой книге. Глазков стоит в очереди на

разговор о стихах. Глазков, в котором находили родство с Хлебниковым, прошел путь, особенный даже по меркам XX века — настоящий нищенствующий поэт вначале и вполне успешный в последние десятилетия жизни.

Даже знаменитые четыре строки, которые он написал о войне —

*Господи, спаси Страну
Советов,
Сбереги ее от высших рас,
Потому что все твои*

заветы

Гитлер нарушает чаще нас.

— известны не благодаря собственно поэзии, а именно благодаря этической позиции, которая таким образом была сформулирована впрок, на десятилетия. И, с другой стороны, он поэт уникальной судьбы, сам себя переломивший — человек, абсолютно осознанно совершивший убийство себя как поэта. Сначала он писал, как делил сам: «хорошие стихи не для печати» и «хорошие стихи для печати». Потом пришла пора «плохих стихов для печати» — но даже они сейчас кажутся каким-то издевательским абсурдом, будто ответ военкому из легенды.

То есть напишет он о героях-комсомольцах на Амуре, а выходит все, как у другого, следующего за ним поэта Олега Григорьева:

*С бритой головой,
в форме полосатой
коммунизм я строю
ломом и лопатой.*

Ну ладно, я все-таки расскажу не о поэзии. Глазков таки откосил от армии, причем в тот момент, когда немцы рвались к Москве. Современники говорили, что

но на войне не нужен. Его возвышенные сверстники и товарищи, правда, наплевали на отсрочки и льготы — и сердечники и астматики легли под Вязьмой, чтобы дать стране время замахнуться. Давид Самойлов шел на войну осознанно, это была его война, и он, не моргнувши глазом, заехал бы в глаз любому, кто ему, еврею-комсомольцу, предложил бы отсидеться. Кульчицкий погиб в январе сорок третьего, под Сталинградом. Поэтов в ту войну выкосило изрядно — хватит на многоотник. А уходя на фронт, Глазкову они говорили: «Сиди, мы за тебя повоюем». Он и сидел, а потом особенно не ломался, а говорил правду — отсиделся.

А для этого тоже нужно некоторое мужество.



Винокурова И.
«Всего лишь гений...»
Судьба Николая Глазкова.
М.: Время, 2006. — 466 с. — (Диалог).
1000 экз. ISBN 5-9691-0170-0

Кстати, совершенно непонятно, как его не смогла сподвизалка этой Советской власти. Шансы у Глазкова были практически стопроцентные — отец его, с до-революционным партизанством, был прокурором, а потом адвокатом, а в двадцатые вышел из партии. Как тут не прибрать сына? Дырвый зонтик сумасшествия не спас, например, Манделштама. Одно ли блаженство хранило Глазкова, как распоряжается судьба — Бог его разберет. А прожил, по русским меркам, с учетом его ликероводочного безумства долго — с 1919-го до 1979 года.

В общем, поэт необщего выражения строк, и это жизнеописание Николая Глазкова оказалось книгой умной.

Не оттого, что она наполнена учеными словами и поэтической теорией, а оттого, что в ней осуществлен компромисс между доступностью и сложностью рассказа о непростом мире советской литературы. (Сложность в том, что одни и те же события имеют разный вкус и цвет — в СССР, десять лет назад, и — теперь.) Важна бережность по отношению к слову — и тут она, по-моему, есть.



Николай Асеев, Илья Сельвинский, Борис Пастернак. Чистополь, 1942

обряды прошлого, кто как ел, пил, сколько стоил проезд... Так вот, книга Воскресенской — это тип воспоминаний, где «я» движется параллельно «знаменитости». Падчерница Сельвинского написала книгу о себе — она жила в литературной семье, окончила ГИТИС, потом преподавала в цирковом училище, а под конец вышла замуж за немца. Немец был родом из прошлого, из компании мальчиков, что были детьми политэмигрантов.

и ингуши, и многие другие малые народы, населявшие нашу страну, все были в 24 часа сорваны со своих мест и отправлены кто куда...» Это кто бы спорил, но кто бы сохранил это чувство удивления от несправедливости.

Человек, ожидающий в этой книге историй о сути «Командарма-2», о том, как писался «Пушторг», может быть разочарован — это не собственно литературный мемуар, это история частная. В ней нет академического анализа прошлого, нет этнографического пира примет ушедшего времени, нет науки литературной злости и нет сведения счетов с мертвыми. Ну, так они честно называются «Мои воспоминания» — не «Отчет падчерницы».

Вернее, есть такой способ описания прошедших давно событий, понимаешь, что вокруг интересного тебе человека шла обыкновенная жизнь — выкипал чайник, писались стихи к случаю, творилась обычная бытовая суэта.

Сельвинский меж тем чрезвычайно интересен. Впервые, это был тип абсолютно советского поэта, причем поэта-конструктивиста. Он стремительно попал в полуопалу, и так и дожил век поэтом второго ряда. При этом Сельвинский написал блестящую прозаическую книгу «О, юность моя», которая чем-то похожа на гигантский автобиографический роман Паустовского.

Даже с самой фамилией «Сельвинский» целая история — это чужая фамилия. У деда Ильи-Карла фамилия

Впрочем, поэт присвоил себе имя Карл, прочитав в тюрьме у белых «Капитал». (Совершенно непонятно, прочитал ли он все три тома и как они попали в тюрьму.)

Это частная жизнь и частные воспоминания — и когда Воскресенская начинает «post factum» защищать Федина от Твардовского или мягко уточнять нобелевские обстоятельства Пастернака, то напоминает девочку, выбежавшую на поле боя между танков.

Но это именно частные воспоминания — в них Переделкино, как оно есть, история, как Вознесенская выбирает место для могилы Пастернака, как живут эвакуированные москвичи в Чистополе, как учит своих студентов преподавательница циркового училища: «И разве какие-нибудь браганцевы, сидоровы, максимовы, долиновы и им подобные сумеют забрать у меня вот эту благодарность моих учеников?»

Бродячий поэт

Книга Ирины Винокуровой могла бы иметь серийное название «Жизнь замечательных людей». Но дело не в серии, а в фигуре главного героя и доступности текста для читателя. Глазков — как бы настоящий подзабытый поэт, поэт не странствующий, а бродячий. Глазков — поэт уникальной судьбы.

С одной стороны, он знаменит массой легендарных поступков, которые, увы, в глазах потомков часто затмевают саму его поэзию. Все помнят, что он изобретатель

медкомиссию в военкомате. Там военком задает только один вопрос: «Котелок варит?» — если отвечают «Да», новобранца ставят в строй, потому что на дворе сорок первый год и Отечество в опасности. Если кто отвечает «Нет», то заключение ровно такое же: «годен».

Когда доходит очередь до Глазкова, то ему задают тот же вопрос, что и всем: «Котелок варит?»

— Да получше, чем у тебя, — отвечает Глазков.



Николай Глазков

— Шизофреник, — говорит военком, — выпишите ему белый билет.

Но, увы, эти анекдотические истории, как и то, что однажды Глазков приехал в дом отдыха на Селигер в одной пижаме, — все эти приметы «блаженного» поэта заслоня-

ют не верил в победу Гитлера — но это видно и по стихам. Однако армии он боялся панически, и какой-то врач натянул ему безумие до пункта «36». То есть по нынешним меркам Глазков был вполне безумен, по меркам рациональным — совершен-



Воскресенская И.
«Мои воспоминания».
М.: Время, 2006. — 320 с.
— (Документальный роман).
1000 экз. (п) ISBN 5-9691-0170-2

Двое из них стали известными — это Конни и Маркус Вольф. Она влюбилась в третьего, Лотара, а вышла замуж за четвертого приятеля.

История про первую любовь особая — чувства героини этого романа были устроены так, что в 1942 году она писала в своем дневнике: «Я хочу быть с Тобой! Все, все только для Тебя!...» — а юноша еще в 1940 году репатриировался в Германию, и как